

Политическая реакция в России и “партийные группы” в российском обществе

В конце 2010 года, анализируя сдвиги в динамике общественного мнения, мы высказали предположение, что начинающееся десятилетие станет периодом активного возвращения общества к политическим проблемам, роста политических напряжений и политических кризисов¹. Речь шла о том, что после эпохи разочарования в реформистских и децентрализаторских устремлениях 1990-х годов и своего рода “авторитарного консенсуса”, сложившегося в общественных настроениях в 2000-е годы на фоне интенсивного восстановления экономики, в конце десятилетия в массовом общественном мнении одновременно снижалась поддержка текущего политического режима и начал расти вес политических предпочтений, которые можно назвать демократическими — или, во всяком случае, плюралистическими. Достаточно отчетливо проявлялся спрос на новую децентрализацию властных полномочий и бóльшую подотчетность исполнительной власти. Мы предполагали, что в условиях перехода от интенсивного восстановления 2000-х к периоду “слабого роста”, который на тот момент выглядел почти консенсусным прогнозом, дальнейшая эрозия поддержки режима и реполитизация общества неизбежны.

Россия 2010-х: радикализация сценария

С одной стороны, этот сценарий начал сбываться даже быстрее, чем можно было вообразить: на рубеже 2011 и 2012 годов в Рос-

сии прошла волна массовых политических выступлений, отразивших в весьма острой форме рост нового политического спроса. Умеренная программа новой оппозиции — “честные выборы” — получала одобрение около 40% респондентов национальной выборки (в то же время радикальная программа протестов — “Путин должен уйти” — одобрялась лишь 20% опрошенных), рейтинги Путина снижались, рос спрос на новых людей и новый язык в политике. Однако период демократического всплеска сменился вскоре не просто политической реакцией — за аннексией Крыма последовала мощная волна мобилизации крайне консервативных политических настроений. В новой картине массовых предпочтений от прежнего тренда растущего спроса на политический плюрализм не осталось и следа. Напротив, консервативная ретардация в опросах общественного мнения достигла масштабов, не виданных в постсоветском периоде. Продвинутый городской класс, только что столь ярко вышедший на политическую арену, будто испарился, и россияне предстали миру нацией, достаточно консолидированно стоящей на антимодернизационных позициях, будто на заказ воспроизводящей стереотип “авторитарной личности”².

Следует отметить, что базовый инерционный сценарий 2010 года оказался опрокинут не только в отношении динамики политических предпочтений, но и в отношении той общей рамки экономических условий, на которую опирались соответствующие предположения. Здесь события развивались столь же

нетривиально: вместо сценария “слабого роста”, подразумевавшего затухающий, в среднем двухпроцентный рост в течение 2010-х годов при умеренно высоких ценах на нефть, российская экономика в начале 2010-х годов характеризовалась гораздо более резким замедлением роста на фоне абсолютно рекордных экспортных доходов. Вместо “слабого роста” мы получили долгосрочную стагнацию: среднегодовые темпы роста российской экономики в 2009–2016 годах составят 0,2%, при том что в предыдущие восемь лет они приближались к 8%. В то же время общие доходы от экспорта в восьмилетке 2001–2008 равнялись \$2,5 трлн, а в периоде 2009–2016 годов — \$4,4 трлн. Несмотря на это, российская экономика легла в боковой тренд, резко разойдясь с траекторией развивающихся экономик мира.

Как уже приходилось отмечать, беспрецедентное экспортное изобилие начала 2010-х годов позволяло резко наращивать масштабы перераспределения ресурсов. Среднегодовые расходы консолидированного бюджета в 2009–2016 годах увеличились более чем на 5% ВВП по сравнению с предыдущей восьмилеткой. Наиболее яркими примерами расширения перераспределительной политики, обозначившими ее приоритетные направления, стали (1) резкое повышение пенсий в 2010 году, (2) неожиданное, на первый взгляд, принятие программы перевооружения армии — наращивания расходов на оборону с 2011 года, (3) реализация масштабных инфраструктурных проектов имиджевого характе-

ра (прежде всего — олимпийский комплекс в Сочи, подготовка города Владивостока к саммиту АТЭС и пр.) (О значимости этих проектов см. также статью Н. Зубаревич “Время регионов: что изменилось за десять лет” в нынешнем номере “Контрапункта” — Прим. ред.), (4) резкое повышение зарплат в бюджетном секторе с 2012 года.

Таким образом, бенефициарами расширяющегося перераспределения стали и пенсионеры, и бюджетники, сырьевой сектор и смежные производства, а также связанный тем или иным способом с государством корпоративный сектор (в частности, бенефициары государственно-частного партнерства при осуществлении инфраструктурных проектов, оборонная промышленность и пр.). Эти процессы формировали контуры новой перераспределительной коалиции, скрепленной “силовой корпорацией”, политическая роль которой возрастала и которая сама по себе составляет заметный сектор рынка труда (по некоторым подсчетам, в работе силовых структур, включая частную охрану, может быть задействовано порядка 4 млн человек, что составляет более 5% трудовых ресурсов).

Широкий круг бенефициаров перераспределительных потоков позволял поддерживать социальную стабильность несмотря на замедляющийся рост. Впрочем, в динамике социальных настроений этого периода (2009–2013) можно различить приметы парадоксальной ситуации стагнирующего благополучия (Рис. 1). В отличие от 2000-х годов, когда

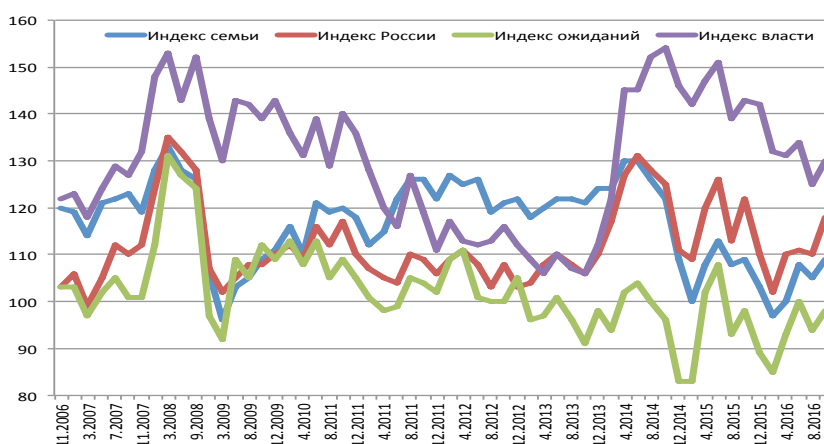


Рис. 1. Динамика “частных” индексов социальных настроений, 2002–2016 годы³

индекс семьи, отражающий оценки личного и семейного материального положения, индекс России (оценки экономики страны) и индекс ожиданий имели согласованно-восходящую динамику, в посткризисном периоде с 2011 года индексы демонстрируют разнонаправленное движение: в то время как индексы личного материального благополучия в целом продолжали медленно расти и оставались на высоких уровнях, социотропические оценки и ожидания имели тенденцию к снижению. Такое расхождение, на наш взгляд, отражало в целом сокращающееся доверие к сложившемуся социально-политическому порядку и его способности обеспечивать условия для долгосрочного поступательного развития.

В целом же можно сказать, что вместо базового инерционного сценария 2010 года мы получили сценарий радикализации трендов как в отношении экономических показателей (сверхвысокие экспортные доходы vs. стагнация), так и в динамике политических предпочтений — от модернизационного натиска 2011–2012 годов до реакционной мобилизации 2014–2015. Но что означает “политический переворот” 2014 года, спровоцированный аннексией Крыма и последующей войной на востоке Украины, закрыл ли он краткий этап “модернизационного натиска” подобно тому, как вторжение в Чехословакию в 1968 году закрыло эпоху поисков обновленного социализма, или является одной из манифестаций кризисной траектории 2010-х годов?

Возвращение к архетипу или авторитарное смещение?

Очевидно, что на протяжении последних пяти лет мы видели какие-то две разные России: одну — в социальных сетях и на московских улицах зимой 2012 года, другую — столь впечатляюще заявившую о себе с марта 2014 года хэштегом “крымнаш”. Какая Россия более “настоящая”: Россия растущего модернизационного спроса или консервативно-авторитарная Россия “крымнашизма”? И какая из них окажет решающее влияние на политическую динамику в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

Мощная консервативная мобилизация

последних двух лет — “крымский синдром” — произвела глубокое впечатление на политический класс, элиты, экспертное сообщество и западное общественное мнение. Образ России резко сдвинулся к историко-политическому канону, формирование которого восходит как минимум к позапрошлому веку. Согласно ему, российский политический архетип определяется органическим консерватизмом широких слоев населения (в свою очередь, детерминированным их глубокими и устойчивыми патерналистскими установками) и их ценностной, исторически детерминированной, отделенностью от Запада, а также полной оторванностью узкого образованного класса от “русской традиции” и социологической “почвы”. В этих условиях авторитарный этатизм является единственной состоявшейся моделью политического устройства, к которой Россия неизменно возвращается после периодов “возмущения” и нестабильности. Этот взгляд на Россию в своей объяснительной аргументации апеллирует к двум ключевым факторам: глубокой авторитарно-этатистской политической традиции (path dependency) и консервативному, патерналистски настроенному “большинству” населения, существование которого вновь кажется несомненным при обращении к совокупности социологических данных последних двух лет.

Альтернативный подход, напротив, акцентирует внимание на текущих институциональных условиях, формирующих те или иные констелляции общественных предпочтений. Он предполагает, что резкое ужесточение авторитарных институтов ведет к эрозии публичной сферы, искусственному подавлению “сил развития” и “замораживанию” страны — которое, в свою очередь, готовит почву для новых кризисов. Этот взгляд пропагандирует критическое отношение к картине общественных настроений, возникающей под давлением авторитарных институтов, и, по сути, отрицает существование консолидированного “консервативного большинства”.

Действительно, усилия, которые прикладывают авторитарные режимы к тому, чтобы исказить представленность в публичной сфере тех или иных предпочтений, казалось бы, хорошо известны: контроль медиапростран-

ства и целенаправленная пропаганда, различные формы изоляции эффективных критиков режима, недопуск оппозиции к выборам и пр. Воздействие подобных усилий на социологические данные также не раз становилось предметом обсуждений в литературе, породив две авторитетные гипотезы — гипотезу “спирали молчания” Элизабет Ноэль-Нойман и концепцию “фальсификации предпочтений” Тимура Курана⁴. Систематическому исследованию этого вопроса препятствует известная фрагментарность социологических данных при жестких авторитарных режимах, а также слабая типология самих этих режимов⁵. Однако нельзя не отметить, что в то время как аналитики и общественность поражались сверхвысоким рейтингам президента Путина в 2014–2016 годах, мало кого удивляли уровни поддержки президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые в начале 2010-х годов держались выше показателя 80%, а в последнее время выросли до 93%⁶. Хорошо известно также, что уровень поддержки правительства в таких странах, как Китай и Вьетнам, сохранивших при переходе к капитализму коммунистическую однопартийную систему и жесткий авторитарный порядок, стабильно превышает 90%⁷. Значит ли это, что действия китайского и вьетнамского правительств в два раза эффективнее, чем, например, правительства британского или американского, где уровень поддержки чаще находится ниже отметки 50%? Или логичнее предположить, что столь высокие уровни поддержки режима в авторитарных странах дают нам информацию скорее о состоянии их публичной сферы, чем о “реальных” предпочтениях граждан?

В известной пионерской работе, посвященной механизмам популярности авторитарных режимов, Барбара Геддес и Джон Заллер отмечали, что в момент прихода к власти военного режима в Бразилии в середине 1960-х годов опросы общественного мнения демонстрировали вполне демократические установки бразильцев в отношении предпочтительного политического устройства — а восемь лет спустя респонденты вполне солидарно отдавали предпочтение военному правительству и все те же более 80% выражали поддержку его действиям⁸. В какой мере этот

авторитарный сдвиг отражал экономические успехи военного режима, а в какой — являлся следствием диктаторских порядков и жестких репрессий?

Дискуссия о том, как интерпретировать данные социологических опросов в условиях укрепляющегося авторитарного режима, требует дополнительных исследований и остается, на наш взгляд, одной из самых важных и актуальных на данном этапе изучения авторитаризмов. В настоящей статье, однако, мы намерены сосредоточиться на смежной проблеме — оценке размеров и динамики партийно-идеологических макрогрупп в массовом общественном мнении, что, в свою очередь, должно приблизить нас к ответу на вопрос: существовало и существует ли в российском обществе консервативное большинство, способное стать опорой “посткрымского” политического режима?

Три партии в зеркале шести вопросов

Опросы общественного мнения дают нам большие объемы информации о распределении предпочтений респондентов, структурированных по различным идеологическим осям и меняющихся во времени. Задача конструирования динамической карты предпочтений, основанной на значительных фрагментах этого массива, стоит весьма остро, но выходит за рамки настоящей статьи⁹. Мы постараемся наметить лишь один, достаточно простой подход к проблеме, опирающийся на данные о том, как сами респонденты определяют свои симпатии в “упрощенном” партийно-идеологическом спектре.

Задача дистилляции потенциальных партийных групп в современном российском обществе сопряжена со многими трудностями. Этому способствует и характерная для почти всего постсоветского периода подозрительность населения в отношении партийности как таковой и партийной конкуренции (уровень доверия политическим партиям в России примерно вдвое ниже среднего уровня доверия к тринадцати другим государственным и общественным институтам, о которых ежегодно опрашивает респондентов “Лева-

да-центр”¹⁰), и фактическое исчезновение этой конкуренции с середины 2000-х годов. Сегодняшнюю российскую партийную систему с достаточным основанием можно считать фиктивной (красноречивый факт: три из пяти наиболее известных и две из четырех парламентских партий де-факто возглавляют сегодня те же лидеры, которые возглавляли их на первых постсоветских выборах 23 года назад). Монополизм и авторитарное давление в публичной сфере приводят к тому, что влияние политического спроса на предложение отсутствует или сильно искажено (авторитарные режимы, напротив, стремятся регламентировать спрос, манипулируя “предложением”). Все это лишает избирателей/респондентов необходимых инструментов структурирования собственных предпочтений и партийно-идеологического самоопределения.

Несмотря на это, мы все же предпримем попытку, опираясь на долговременные ряды

ответов на одни и те же вопросы, апеллирующие к “упрощенной” и абстрагированной модели “партийной системы”, выделить условные партийные лагеря в российском общественном мнении 2000–2010-х годов¹¹. Так, например, со второй половины 1990-х и вплоть до 2012 года (с перерывом в 2008–2011 годах) “Левада-центр” задавал вопрос “Какой партии, политической силе вы сейчас симпатизируете?” со стандартным меню ответов. Как видим на Рис. 2, общий тренд состоял в том, что доли сторонников “коммунистов” и “демократов” (практически равные в 2000-е годы) сокращались, а доля сторонников “партии власти” росла (“патриоты” неизменно оставались маргинальной группой). В посткризисном периоде (два замера 2012 года) тренд изменился: доля “демократов” резко выросла и сравнялась с долей сторонников действующей власти.

Этот срез дает достаточно непротиворе-

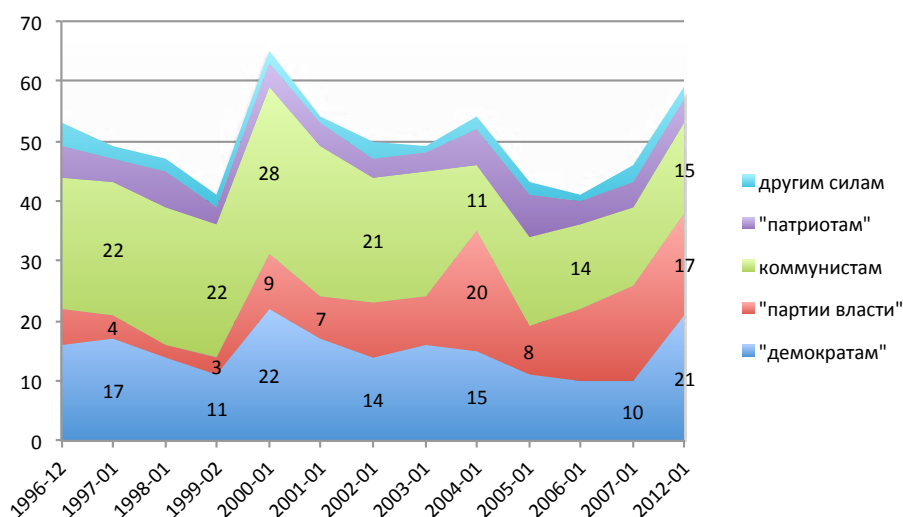


Рис. 2. Вопрос 1: “Какой политической силе вы симпатизируете?”, 1999–2012, % от числа опрошенных¹²

чивую и информативную картину, однако, к сожалению, последовательно доведен лишь до конца 2007 года и задает некоторую неопределенность: вопрос отсылает одновременно и к идеологическим предпочтениям респондентов, и к той картине реальных политических сил, которая существует на политической сцене. Более соответствует нашим задачам куст вопросов, использующих в качестве “подсказок” парадигму “Запад/демократия/рынок — СССР/коммунизм/социализм — нынешний режим/особый российский путь”. Эта матри-

ца отсылает как к предельной идеологической антитезе “коммунизм/социализм — демократия/рынок”, так и к соответствующим институциональным образцам (СССР — Запад) — обозначая, кроме того, “срединный” (особый) путь, также ассоциируемый с определенным институциональным опытом (“нынешний режим”). В то же время она в наименьшей степени привязана к текущей политической конъюнктуре. В массиве данных “Левада-центра” мы находим пять вопросов, использующих эту парадигму “подсказок” в слегка модифи-

цированных вариантах, которые задавали респондентам с некоторой регулярностью с конца 1990-х до середины 2010-х годов. В совокупности мы получаем 51 распределение предпочтений в периоде с 1999 по 2016 годы, что можно считать более или менее представительным массивом.

На первый взгляд различия в распределениях выглядят очень значительными и приводят в замешательство, однако при более внимательном анализе поддаются определенной интерпретации и кластеризации. Каждый из пяти вопросов имеет свой специфический фокус и дизайн, что приводит к серьезным смещениям в распределениях. Так, например, в ответах на Вопрос 2 (“Какая политическая система кажется вам лучшей...?”) мы, с одной стороны, наблюдаем знакомые по Вопросу 1 тенденции: снижение на протяжении 2000-х годов доли сторонников как “советской”, так и “демократической” моделей и

рост поклонников “нынешней системы”; затем — смену тренда и рост числа сторонников “демократической” модели в посткризисном периоде и их резкое сжатие в посткрымском (Рис. 3). Однако доля сторонников коммунистической системы здесь в среднем существенно выше. Одно из очевидных отличий состоит в том, что в Вопросе 1 респонденты имели возможность уклониться (“не доверяю ни одной из политических сил”), и свои предпочтения идентифицировали лишь 50–60% опрошенных, а в Вопросе 2 предпочтения идентифицируют 80–90%. В результате, как можно предположить, из подключившихся групп респондентов со слабыми партийными предпочтениями половина отдала свои голоса “советской” модели, а вторая половина распределилась между сторонниками “нынешней” и “демократической” систем.

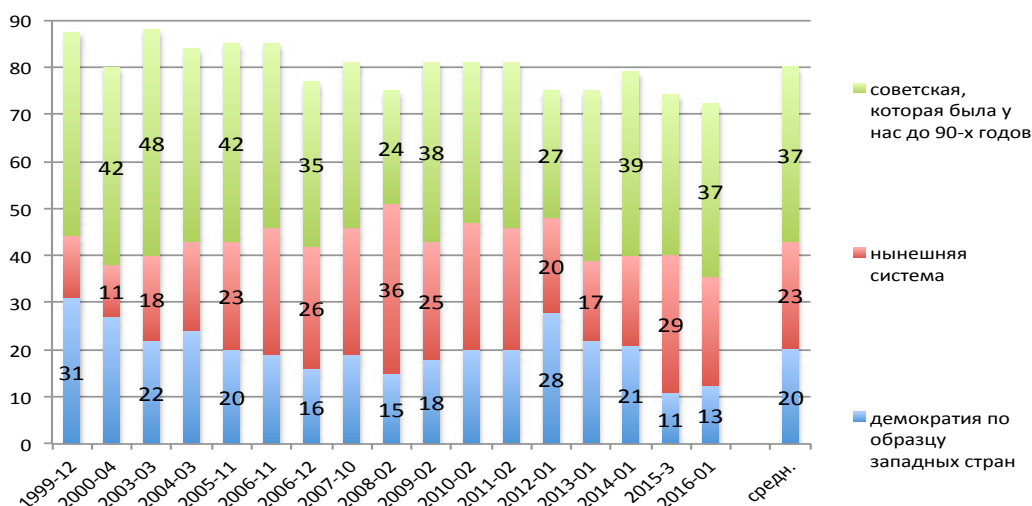


Рис. 3. Вопрос 2: “Какая политическая система кажется вам лучшей...?”, 1999–2016, % от числа опрошенных

Кроме того, просоветский сдвиг Вопроса 2 может быть связан с его ретроспективно-оценочным характером: респондентам предлагают выбрать “лучшую” систему. И наоборот, в следующем Вопросе 3, использующем метафору пути и обращенном в будущее (“По какому историческому пути должна идти Россия?”), возникает сдвиг в пользу варианта “собственный, особый путь” (Рис. 4 на С.7). Этот достаточно неопределенный “собственный путь” в качестве перспективной модели, видимо, выглядит наиболее комфортным

выбором для тех же самых групп со слабой партийной идентичностью (в опросе так же определяют свои предпочтения 90% опрошенных). Группа сторонников “коммунизма” сократилась при такой формулировке вдвое, в то время как “демократическая” группа осталась в среднем такой же, как в предыдущем распределении, и так же, как в предыдущем вопросе, демонстрирует расширение в посткризисном периоде (2009–2013) и сжатие в посткрымском (2014–2016). Доля сторонников особого пути сжимается в посткризисном

периоде очень существенно (с почти 60% до 40%) и восстанавливает свои позиции после

присоединения Крыма.

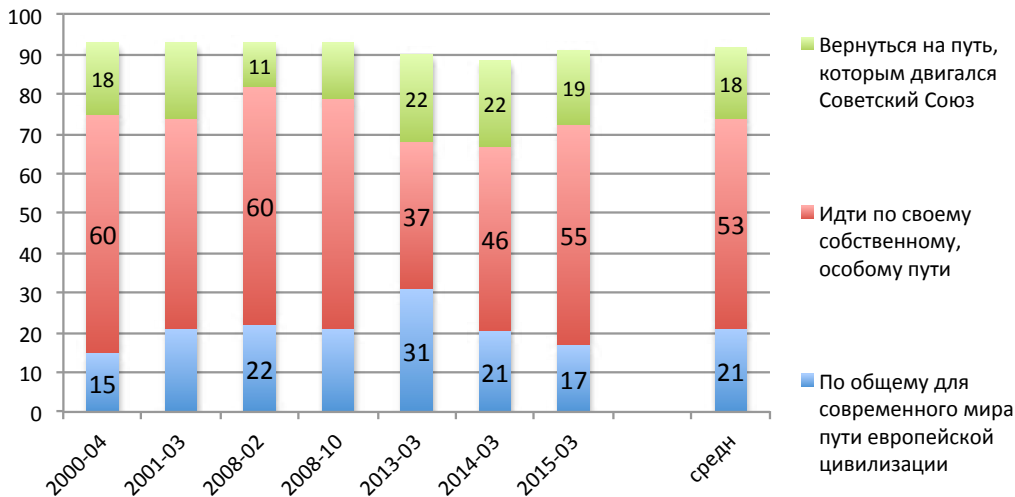


Рис. 4. Вопрос 3: “По какому историческому пути должна идти Россия?”, 2000–2015, % от числа опрошенных

Анализируя изолированно данные ответов на Вопрос 2, исследователь мог бы сделать вывод о силе левых взглядов в российском обществе и сохраняющейся зависимости массовых предпочтений от “прошлого опыта” (path dependency), а анализируя распределения для Вопроса 3, мог бы сделать вывод о значительной приверженности россиян идее особого российского пути, отличного от западного. Но оба вывода были бы поспешны: скорее всего, речь идет о колебаниях предпочтений групп со слабой партийно-идеологической идентичностью в зависимости от фокусировки вопроса.

Вопрос 4 оперирует понятием “демократия” — что, видимо, и приводит к сокращению в ответах доли сторонников “советско-коммунистического” идеала (Рис. 5). В целом распределения здесь похожи на распределения в вопросе о “пути”, а чуть меньшая доля сторонников “особой” модели связана с тем, что определили свою “партийность” около 80% респондентов, а не 90% (около 7% выбрали вариант “России не нужна демократия”). Группа сторонников “западно-демократической” модели вновь находится на уровне немного выше 20% и вырастает почти до 30% в начале 2010-х годов, а затем резко сжимается.

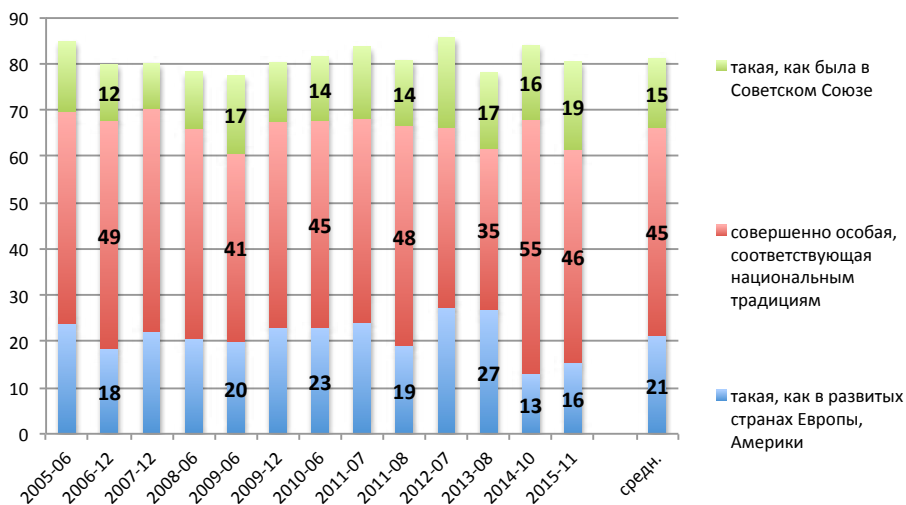


Рис. 5. Вопрос 4: “Какая демократия нужна России?”, 2006–2015, % от числа опрошенных

Вопрос 5 также имеет перспективный характер, но не использует метафору “пути”, а оперирует понятием “тип государства” (“Государством какого типа вы хотели бы видеть Россию в будущем?”; Рис. 6). “Особое устройство” остается самым популярным ответом, однако в этом варианте группа сторонников “западной” модели расширилась до среднего значения 33%. Возможно, здесь сказывается акцент на “будущем” в формулировке вопроса — но более вероятно, что, в отличие от метафорического “пути”, термин “государство” для респондентов гораздо более привязан к неким институциональным образцам, и расширение группы сторонников “западной модели” отражает представление о высоком качестве западных государственных институ-

тов³. Поддержка идеи политического участия и политической конкуренции (соотносимых с понятиями “демократия”, “политическая система”) в российском обществе гораздо ниже, чем уровень поддержки таких концептов, как “власть закона”, “равенство перед законом” и “права человека”, ассоциируемых с “качеством” государства. Возможно, именно с этим связан более высокий уровень поддержки западного типа государства по сравнению с уровнем поддержки “западной” политической системы и “западной” демократии. Интересным представляется, что группа “западников” здесь выглядит наиболее устойчивой во времени, в том числе и в посткрымском периоде.

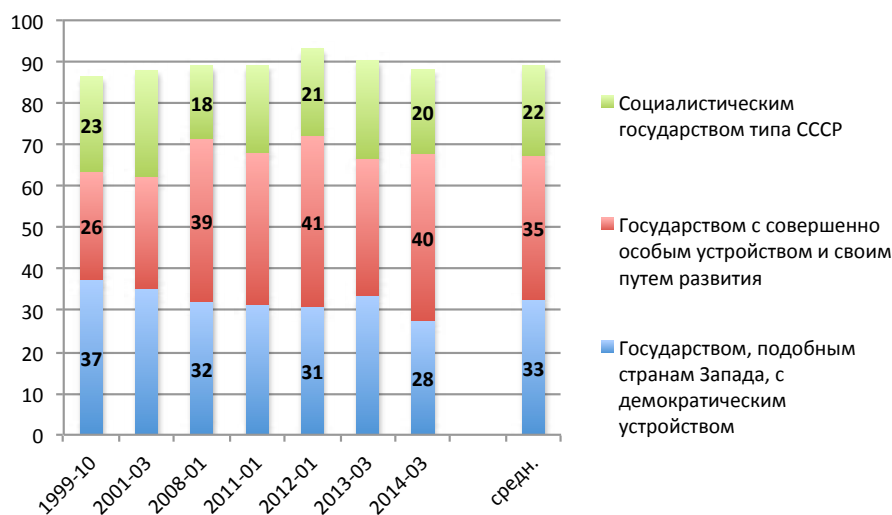


Рис. 6. Вопрос 5: “Государством какого типа вы хотели бы видеть Россию в будущем?”, 1999–2014, % от числа опрошенных

К счастью, “Левада-центр” задает время от времени идентичный Вопросу 5 перспективный вопрос с расширенным меню ответов (Рис. 7 на с.9). Помимо опции “монархия”, здесь добавлен также идеологически нейтральный, прагматичный ответ “мне все равно, какой тип государства будет в России, мне важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья”. Эта опция повышает партийную консистентность определившихся групп, отсекая респондентов со слабой идеологической идентификацией: свою приверженность одной из трех моделей определяли в среднем 65% респондентов, а не 80–90%, как в Вопросах 3–5.

Почти сенсационным выглядит тот факт, что размер партии “западников” при модифицированной конструкции опроса не изменился: она, как и в распределениях Вопроса 5, все так же в среднем чуть превышает 30%. Две другие партийные группы, напротив, претерпели радикальные изменения, “похудев” почти в два раза. В итоге эти две партии (если говорить об их твердых сторонниках) получили 32% и оказались вместе равны по размеру “западнической” партии, которая стала самой крупной и устойчивой партийной группой.

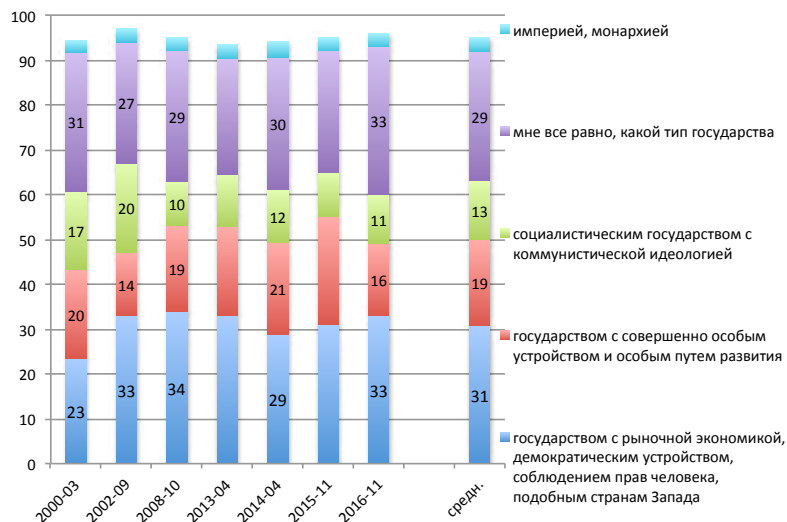


Рис. 7. Вопрос 6: “Государством какого типа вы хотели бы видеть Россию в будущем?”, 1999–2015, % от числа опрошенных

Устойчивость и стабильность партии “западников” в последних двух рядах указывает, что она располагает самым крупным “ядром” устойчивых сторонников. Эта новость, впрочем, имеет и обратную сторону: сравнение распределений в Вопросах 5 и 6 демонстрирует, что 20–30% электората со слабой партийно-идеологической идентичностью в ситуации необходимого выбора распределяются между “социалистами” и “особистами”, но не пополняют партию “демократов-западников”. Такой вывод отчасти поддерживают и наши сравнения результатов распределений в Вопросах 1, 2, и 3, где группы со слабой идентичностью в зависимости от фокусировки вопроса также колебались между “советской” и “особой” моделями, а размер демократической группы менялся незначительно.

Партийно-идеологические группы, их характеристики и динамика

Итак, наш анализ опирается на предположение, что три институциональные модели, обозначенные в “подсказках” ответов, хорошо опознаются респондентами за счет отсылок к институциональным образцам (западное — советское — нынешнее), несмотря на различия конкретных формулировок. В этом случае пять по-разному сфокусированных вопросов

позволяют объемнее и полнее увидеть реакцию респондентов на эти узнаваемые модели. При этом различающийся дизайн вопросов и набора подсказок, несмотря на явную неполноту и некоторую случайность матрицы, позволяют увидеть 1) разницу проспективных и неперспективных предпочтений, 2) реакцию на разные аспекты трех институциональных моделей, а также 3) различия распределений для политически ангажированных респондентов и для общей выборки, включающей группы со слабой партийностью (периферию), что также является значимым измерением агрегированной картины общественных предпочтений. Так, например, из предложенных сравнений следует, что сторонники “нынешней системы/особого пути” имеют самую крупную, но и наиболее аморфную периферию, а потому размер этой группы подвержен самым большим колебаниям и в синхронии (в зависимости от формулировки вопроса), и в диахронии, в зависимости от оценки “нынешней системы”.

В целом анализ этих данных позволяет сделать следующие предварительные выводы. Прежде всего, вопреки первому впечатлению, ряды распределений ответов по 5 вопросам (Вопросы 2–6) демонстрируют известную устойчивость и соизмеримость, а существенные различия связаны с “вхождением” групп со слабыми партийно-идеологическими пред-

почтениями и с фокусировкой вопроса — к которой, по всей видимости, оказываются особенно чувствительны именно эти группы.

В диахронии изменения предпочтений выглядят также достаточно последовательными: практически во всех рядах мы видим на протяжении 2000-х годов сокращение прежде всего коммунистической и — в меньшей степени — демократической групп и рост поддержки “нынешнего режима/особого российского пути”; затем существенное сжатие последней группы и рост группы поддержки “западно-демократической” модели в посткризисном периоде (2009–2013 годы); и наконец, возвратный тренд сжатия фракции “западников-демократов” и расширения поддержки “текущего режима/особого пути” после аннексии Крыма.

В посткрымском периоде наблюдается несколько различная динамика группы “западников” в вопросах 2–4 и 5–6. В первых из них (акцент на “политической системе” и “историческом пути”) демократический лагерь достаточно сильно сжимается, а в перспективных вопросах о типе государственного устройства сдвиг выглядит незначительным (около трех процентных пунктов). Это может указывать на то, что глубина “антизападнического” поворота в общественном мнении имеет все же ограниченный характер: Запад остается во многих аспектах важным институциональ-

ным “образцом” для значительной части населения.

Для наглядности сравнения групп сразу по 5 параметрам (Вопросы 2–6) и их динамики можно представить данные в виде лепестковых диаграмм для трех периодов (Рис. 8–10). На диаграммах хорошо видно, что для всех групп существуют вопросы, в которых они достигают максимального расширения, и те, в которых зона поддержки сжимается, — верхний и нижний кластеры значений. Этот разброс представляется вполне значимым: нижний кластер следует понимать как область значений размера “ядерной” группы — более устойчивых сторонников, а “верхний” — как указание на способность данной институциональной модели привлекать сторонников с периферии, т.е. на пределы ее возможного расширения. В Табл. 1 (с.12) сравнение групп по четырем периодам представлено как сравнение средних для всех значений группы и как сравнение средних для их “нижних” и “верхних” кластеров¹⁴. Таким образом, значения в последних двух колонках таблицы указывают на важные свойства группы — примерные размеры ее “ядра” и ее аттрактивность для периферии, в то время как динамику групп по трем периодам скорее отражают общие средние (первая колонка), указывающие масштаб сдвига значений группы от периода к периоду.

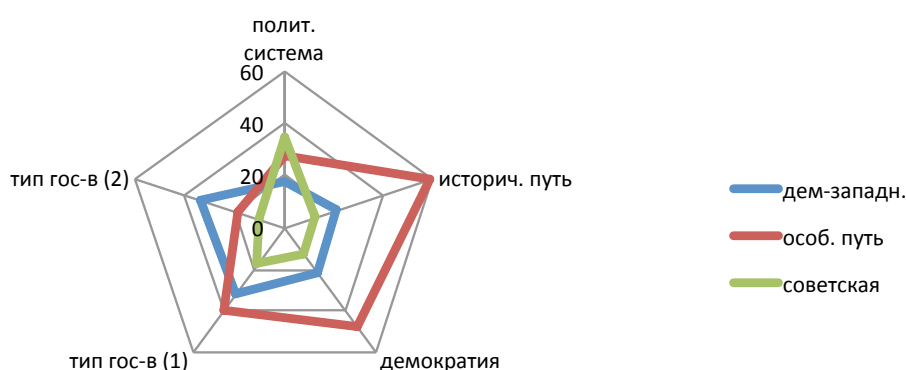


Рис. 8. Распределение предпочтений по пяти вопросам в 2004–2008 годах

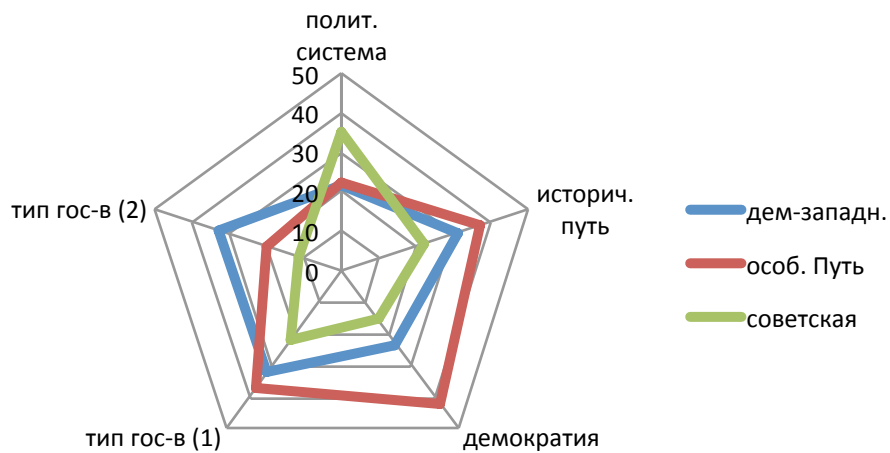


Рис. 9. Распределение предпочтений по 5 вопросам в 2009–2013 годах

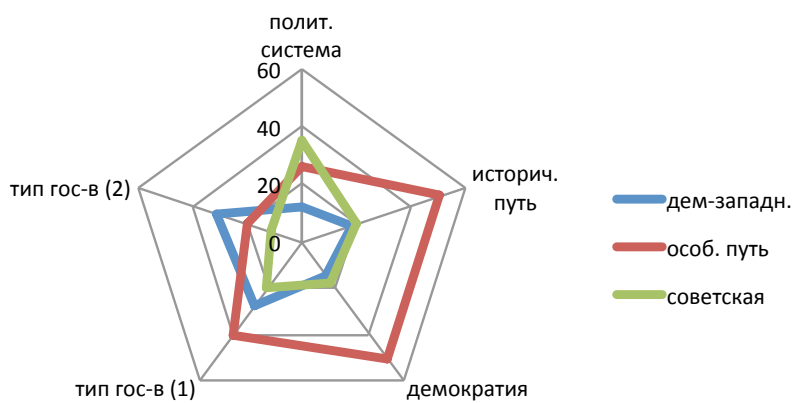


Рис. 10. Распределение предпочтений по 5 вопросам в 2014–2016 годах

Табл. 1. Обобщенные данные о долях партийно-идеологических групп

	среднее	нижний кластер	верхний кластер
1999–2003			
Западная модель	27	22	32
Нынешняя система/ особый путь	29	16	42
Советская модель	26	19	34
2004–2008			
Западная модель	25	20	33
Нынешняя система/ особый путь	38	23	53
Советская модель	17	12	26
2009–2013			
Западная модель	28	22	32
Нынешняя система/ особый путь	32	21	39
Советская модель	21	14	28
2014–2016			
Западная модель	21	13	29
Нынешняя система/ особый путь	38	23	51
Советская модель	21	14	28

Из этой общей картины следует прежде всего, что группа, ориентированная на “западно-демократическую” модель, отнюдь не является малой и маргинальной, противостоящей консолидированному консервативному “большинству”. Напротив, ее ядро вполне сопоставимо с ядром сторонников “особого пути”, а в некоторых контекстах оказывается и большим. Проблема заключается не в том, что сторонников этой модели слишком мало, а в том, что ее влияние на группы со слабо выраженными предпочтениями ограничено. Соответственно, при их “вхождении” доля “демократов-западников” падает, но все равно никогда не становится маргинальной. В большей части рассматриваемого периода размер этой группы был достаточно устойчивым и колебался в диапазоне 20–32%. В посткрымском периоде она существенно сжимается в своем “ядре” (меньше становится среднее минимальных значений), но в некоторых контекстах способна расширяться практически до прежних пределов.

Размер группы сторонников “нынешней системы/особого пути”, как уже было сказано, отличается высокой волатильностью. Ее основная сила — в способности привлекать периферию, группы со слабой партийно-идеологической идентичностью. При этом она все равно далека от подавляющего доминирования. В посткризисном периоде ее влияние сократилось, и она лишь незначительно превосходила группу “демократов-западников”, а в посткрымском восстановилась в тех же размерах, которые наблюдались во втором периоде.

Доминирование сторонников данной модели требует определенных оговорок. Помимо очевидного преимущества, связанного с ее интенсивной поддержкой в общенациональных медиа, контролируемых Кремлем, осторожности требует интерпретация самого концепта “особого пути”. Аналитики склонны понимать его преимущественно в контексте антитезы “Россия — Запад”, однако ряд замеров “Левада-центра” позволяет утверждать,

что его наполнение неоднородно и подвижно⁴⁵. В Табл. 2 представлены доли упоминаний респондентами различных характеристик

“особого пути”, сгруппированные по категориям.

Табл. 2. Что такое российский “особый путь”?
% от числа опрошенных

	01.2008	01.2011	02.2012	03.2013	03.2014	11.2015	11.2016	среднее
Ценностные отличия от Запада*	39,4	33,6	39,4	33,9	41,5	35,4	25,4	37,2
Идеология “осажденной крепости”**	16,3	14,4	18,7	12,5	17,6	20,2	15,9	16,6
Отличие экономической модели***	33,7	38,2	41,7	30,4	30,7	19,7	28,8	32,4
Негативные интерпретации****	6,9	8,9	6,9	6,9	3,9	5,2	5,5	6,4
доля экономики в интерпретации концепта	0,35	0,40	0,39	0,36	0,33	0,24	0,38	0,35

* Ответы: “несоответствие ценностей и традиций России и Запада”, “учет в политике духовной, моральной стороны отношений государства и граждан”.

** Ответы: “готовность к самопожертвованию граждан ради величия российского государства”, “необходимость постоянно учитывать такие факторы, как враждебное окружение страны и угрозу нападения”.

*** Ответы: “экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о прибылях и интересах “хозяев жизни”.

**** Ответы: “преобладание интересов власти над интересами населения”.

Данные в % от числа ответивших

Как видим, вопреки интеллектуалистскому рефлексу интерпретировать концепт “особого пути” в контексте антитезы “Россия — Запад”, от 30% до 40% респондентов указывают в качестве характеристики его социально-рыночную ориентированность, т.е. подразумевают под этим словосочетанием некую эгалитаристскую или этатистскую (патерналистскую) модификацию рыночной экономики. Это объясняет перетекание сторонников “советской” модели в группу поддержки “особого пути” при хорошей экономической конъюнктуре (2004–2009 годы) и обратную тенденцию в менее благоприятных в экономическом отношении периодах. В посткрымском периоде вес ценностных аспектов “особости” и идеологии “осажденной крепости” возрастает, но и здесь 25% ответов касаются экономической специфики “особого пути”; в 2016 году экономическая проблематика “особости” вновь возвращает свои позиции.

Разумеется, новые вопросы с той же парадигмой ответов дадут новые, несколько отличающиеся ряды значений. В частности, в доступных данных недопредставленным выглядит потенциал “советской” модели: ее

максимумы (отражающие способность привлекать сторонников на периферии) увеличились бы, если бы присутствовал вопрос, сфокусированный на экономических аспектах — отношении к рыночной экономике (см. об этом ниже). За исключением этого, агрегированные данные статистики групп вряд ли существенно изменятся.

Представительство, “повестки” и технологии доминирования

В целом можно сказать, что соотношения потенциальных партийных доменов в общей картине общественных предпочтений выглядят гораздо более сбалансированными, сложными и динамичными, нежели они предстают в полемике о “двух Россиях”. На неких идеальных выборах в парламент, на которых партийное предложение вполне соответствовало бы потенциальному спросу, в периоде 2004–2008 годов “западники-демократы” могли бы получить не менее 25% голосов избирателей, коммунисты — около 20%, а партия “нынешнего режима” и “особого пути” — по-

рядка 40% или немного больше. В начале 2010-х годов доля демократов могла бы достичь 30%, фракция сторонников нынешнего режима и особого пути — сократиться до 30–35%, а коммунистов — превысить 20%. И даже в посткрымском периоде на долю “демократов” могли бы быть прийдись около 20% голосов, а партия нынешнего режима вернулась бы к своим показателям конца 2000-х. Примерно такие соотношения в большей степени отражали бы динамику долгосрочных идеологических предпочтений избирателей, какой мы видим ее в проанализированном корпусе распределений.

Заметим, кстати, что коммунистическая фракция на протяжении всех периодов неизменно присутствует в Думе, и ее представительство даже не выглядит сильно заниженным по сравнению с той картиной, которую мы получили. Напротив, “демократическая”, “западническая” партия на электоральном поле и в парламенте с середины 2000-х не представлена как самостоятельная сила, хотя данные указывают, что и в конце 2000-х, и в начале 2010-х годов группа ее сторонников была больше группы сторонников советской модели. Непредставленность “демократов-западников” на политическом подиуме, а значит, недопредставленность в информационном мейнстриме, отсутствие легальных публичных спикеров, которые формировали бы клишированные аргументации в поддержку своей доктрины и атаковали оппонентов, в какой-то мере объясняют один из важнейших феноменов, отмеченных выше, а именно — тот факт, что представители групп со слабой партийно-идеологической идентичностью распределяются между “коммунистами” и сторонниками “особого пути”, почти ничего не добавляя “демократам-западникам”. Мы отнюдь не склонны считать это единственной причиной “недемократичности” слабо ангажированных групп, однако очевидно, что непредставленность идейной группы на официальной политической сцене поддерживает представление о маргинальности данного дискурса, затрудняет коммуникацию ее сторонников между собой и со своими потенциальными союзниками, а кроме того, позволяет партии “нынешнего режима/особого пути”, частич-

но апроприруя “демократический” дискурс, укреплять свои “центристские” позиции.

Разброс значений в размерах групп для разных вопросов, отраженный в Табл.1, отнюдь не является “шумом” в данных, который необходимо устранить. Напротив, эти различия демонстрируют нам естественное состояние общественных реакций, складывающихся в неоднозначную и диффузную картину. За границами ангажированных партийных групп то или иное распределение предпочтений на национальной выборке выглядит ситуативной констелляцией, в которой размеры групп изменяются под влиянием актуальной “повестки”, предложенной конкретным вопросом и конкретными обстоятельствами.

Такой взгляд представляет “общественное мнение” не как композицию лагерей с уже сформировавшимися и очерченными предпочтениями, но в большей степени обнажает и высвечивает его онтологическую текучесть и аморфность. За границами твердых партийных групп большинство респондентов-избирателей могут оказываться и “демократами-западниками”, и “эгалитаристами” или “этатистами”, демонстрирующими определенные симпатии к “советской модели”, и сторонниками “сильной власти” и “особого пути” — в зависимости от контекстов, в которых им приходится делать выбор, и тех повесток, на которых сфокусировано в данный момент внимание общества. Респондент может позиционировать себя в одном месте на оси “свободный рынок — государственная экономика” и в несколько ином — на оси “демократия, децентрализация — сильная централизованная власть”. Или, с одной стороны, энергично поддерживать государственное регулирование в экономике, но в то же время разделять озабоченность проблемой “справедливых” правил игры, а потому выражать энергичную поддержку идеям равенства перед законом и защиты гражданских прав. Соответственно, если общественная повестка будет сфокусирована на последней теме, то он может поддержать партию “западников-демократов”, а если на проблеме “рыночной несправедливости” и противодействия угрозам, то очутиться в стане “коммунистов”.

Достаточно очевидно, что для самоопре-

деления в обсуждаемой системе координат (“западная — советская — нынешняя” модели) наиболее значимыми оказываются несколько макроповесток:

- политическая повестка (отношение к демократии): предпочтения “централизованной (“сильный лидер”, “твердая рука”)/децентрализованной” системы принятия решений и распределения полномочий, а также представление о ценности политической конкуренции и политического участия;
- экономическая повестка (отношение к рынку): предпочтения по оси “рынок/эгалитаризм/патернализм (этатизм)”;
- институциональная повестка (отношение к “государству”): представление об эффективном государстве и его институтах, значимости принципов равенства перед законом (rule of law), защиты прав человека и подотчетности правительства;
- и наконец, повестка идентичности: самоопределение на оси “Россия — Запад (внешний мир)”, т.е. оценка предпочтительного уровня “открытости — закрытости (самодостаточности)” страны.

Эти “повестки”, безусловно, взаимосвязаны, но в то же время обладают определенной автономией, а размеры партийно-идеологических групп могут меняться в зависимости от того, какие из них оказываются особенно актуальными для общества в данном периоде. Так, например, экономический шок 2008–2009 годов, продемонстрировавший неустойчивость достигнутых в 2000-е годы экономических успехов, снизил доверие к “нынешнему” режиму и веру в его эффективность — повысив, соответственно, интерес к проблемам институционального выбора и социально-политической модернизации. В результате возникает ощущение, что распределение общественных предпочтений в начале 2010-х годов сдвигается к тому, которое характерно для вопросов 5 и 6, где доля сторонников “западническо-демократической” модели достаточно велика и практически равна доле сторонников “нынешнего режима”. Как уже упоминалось, повестка борьбы за “честные выборы” расширила демократическую коалицию до 40%, привлекая на ее сторону

часть “левых” и националистически настроенных сил. И наоборот, в посткрымском периоде обществу с исключительной настойчивостью предлагают прежде всего определиться по Вопросу 3 (“По какому историческому пути...”), и в результате возникает стойкое ощущение, что характерное для этого вопроса распределение групп и есть отражение истинной картины общественных предпочтений и реального баланса политического спроса.

Таким образом, политическая радикализация — перемещение некоторых периферийных, не главных для общества в “нормальном” состоянии повесток в центр общественного внимания — может приводить к серьезному смещению в распределении предпочтений. Ярким эпизодом подобной манипуляции “повестками” можно считать кампанию в Думе и государственных медиа в 2012–2013 годах, выдвигавшую в центр актуальной общественной дискуссии вопрос об отношении к сексуальным меньшинствам.

Радикализация этого в целом достаточно маргинального для российского общества вопроса и выдвигание его в качестве значимого идентификатора “западнической” партии позволили сделать шаг к маргинализации как наиболее последовательного ядра “западников”, так и “западнического” дискурса в целом.

Точно так же радикализация периферийных прежде повесток “внешней угрозы”, защиты “исторических территорий” и “соотечественников за рубежом” приводит к серьезному смещению баланса предпочтений в посткрымском периоде. Именно подобные “радикализации” и отсечение нежелательных повесток, как представляется, могут приводить к формированию благоприятствующей авторитарному режиму картины лояльного сверхбольшинства и противостоящего ему маргинального меньшинства, которая по сути не соответствует карте долгосрочных трендов.

Повестка идентичности, коалиция этатистов и экономический кризис

Такой взгляд не столько прямо опровергает существование “консервативного большин-

ства” в российском общественном мнении середины 2010-х годов, сколько уточняет его статус, генезис и масштабы и позволяет отчасти демифологизировать картину авторитарного доминирования, несколько шире взглянув на возможные факторы и сценарии динамики предпочтений в будущем. С большим основанием, чем прежде, мы можем сказать, что картина “консервативного большинства” в посткрымском периоде является скорее отклонением от долгосрочных трендов и выглядит в значительной мере ситуативной констелляцией — что не означает ее случайности, но достаточно остро ставит вопрос о ее устойчивости.

На начавшуюся политизацию общества и всплеск модернизационного спроса начала 2010-х годов авторитарный режим ответил не только усилением давления на независимые СМИ, гражданские организации и оппозиционных активистов, что было предсказуемо и ожидаемо, но и встречной мобилизационной кампанией, использовавшей то, что можно охарактеризовать как “стилизированный югославский сценарий”. Этот сценарий национально-территориальных конфликтов “метрополии” с самоопределяющимися “провинциями” не реализовался в начале 1990-х, однако его отложенный потенциал, связанный с утратой символических локусов и наличием “соотечественников за рубежом”, как оказалось, в известной мере сохранился.

Аннексия Крыма и сопутствовавшие ей война в восточных областях Украины и конфликт с Западом привели к резкому росту значимости в общественных представлениях “по-

вестки идентичности”, отодвинувшей прочие повестки, в частности “институциональную” повестку протестов 2011–2012 годов. В этом смысле именно события 2014 года и их последствия могут быть с еще большим основанием охарактеризованы как “путинская превентивная контрреволюция”¹⁶.

Всплеск патриотического и национального энтузиазма середины 2010-х годов при этом не был совершенно внезапным и неподготовленным. Как видно на Рис. 11, на протяжении 2000-х годов наблюдалось последовательное укрепление представлений как о том, что Россия является “великой державой”, так и о наличии внешних угроз для страны. Параллельно в общественных представлениях росла ценность “великодержавного” статуса. Динамика ответов на вопрос “Вы хотели бы видеть Россию сейчас в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира, или великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны?” демонстрирует, по сути, что значимость повестки идентичности в массовых представлениях росла, а значимость экономической повестки относительно снижалась. В посткризисном периоде наблюдается некоторый сбой в трендах, однако в 2011–2014 годах прежние тенденции проявили себя с новой силой. Но в 2016 году мы наблюдаем перелом тренда: значимость повестки идентичности резко снизилась, а значимость экономической повестки выросла. Распределение ответов в этом вопросе вернулось в посткризисный 2010 год.

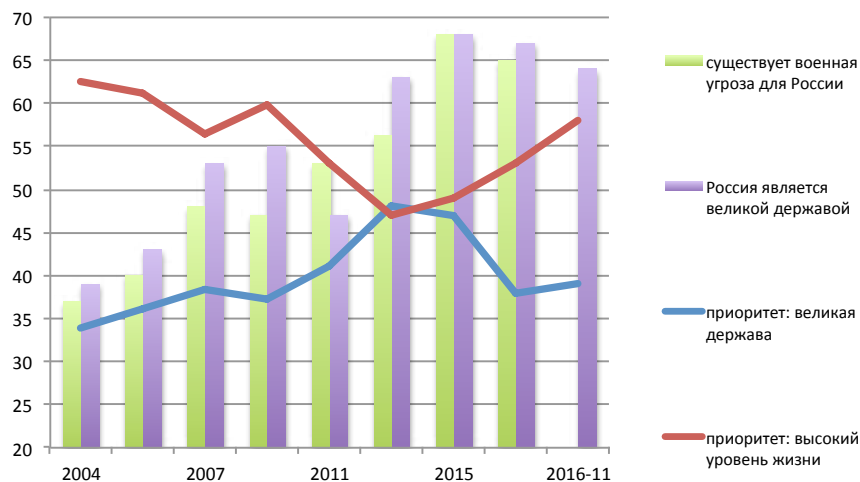


Рис. 11. “Великая держава”: повестка идентичности vs. экономическая повестка

Сбой тенденций в посткризисном периоде и разворот тренда в 2016 году указывают, что уровень значимости “повестки идентичности” весьма чувствителен к экономическим факторам. Это наблюдение вполне соотносится и с отмеченными выше изменениями в структуре характеристик “особого российского пути”: снижением роли его экономических “признаков” в 2014–2015 годах и обратной тенденцией 2016 года (см. Табл. 2). Иными словами, тенденции, отраженные на Рис. 11, стимулировались не только эволюцией официального дискурса, который во второй половине 2000-х годов становился все более настороженным или враждебным в отношении Запада, но и экономическими успехами страны в годы как первого (2004–2008), так и второго (2011–2014) нефтяных бумов. Рост значимости “повестки идентичности”, очевидно, связан со снижением остроты социально-экономической проблематики. Это наблюдение позволяет нам более конкретно определить характер посткрымской консервативной коалиции.

Одной из характерных черт картины массового общественного мнения в России последних двадцати лет является то, что распределение предпочтений относительно оптимальной экономической модели находится под сильным влиянием не столько эгалитаристских, сколько этатистских идеалов, чаще описываемых как патерналистские установки. С начала 2000-х годов при ответе на вопрос “Какая экономическая система кажется вам более правильной?” более 50% россиян устойчиво отдают предпочтение экономической модели, основанной на государственном планировании и перераспределении, и лишь немногим более 30% поддерживают модель, основанную на частной собственности и рыночных отношениях¹⁷. Поразительно, что это соотношение практически не менялось ни в годы экономического бума 2000-х годов, ни в годы кризисов (2008–2009, 2015–2016).

Такое распределение, впрочем, не означает, что россияне мечтают о реальном возвращении к социализму: так, в двух опросах “Левада-центра” начала 2010-х годов две трети респондентов ответили, что рыночная экономика необходима России¹⁸. Скорее, оно означает, что глубокое недоверие к рынку (в

котором сказываются, видимо, и наследие “советскости”, и опыт взаимодействия с ранним российским капитализмом) повышает в глазах россиян роль государства как своего рода микширующего, стабилизирующего фактора в экономической сфере. Путинский “распределительный капитализм” первой половины 2010-х годов, обеспеченный небывалыми доходами от экспорта сырья, более чем соответствовал этим ожиданиям, укрепляя веру в “особый, российский путь”, его экономическую и институциональную состоятельность.

Иными словами, можно предположить, что “посткрымское (консервативное) большинство” (масштабы которого при этом, вне всякого сомнения, преувеличены авторитарными искажениями в публичной сфере) есть результат своего рода симфонии предпочтений политических этатистов (сторонников “сильной власти”, способной отвечать на “угрозы” и обеспечить великодержавный статус), мобилизованных “крымским поворотом” путинской политики, и этатистов экономических (сторонников активной посреднической роли государства в регулировании неизбежного “рыночного зла”), вдохновленных успехами перераспределительной политики 2011–2014 годов.

В 2015 году, в условиях мобилизации и пропагандистского давления, население, по всей видимости, не успело отреагировать на новый экономический кризис, связанный с падением цен на нефть. Однако уже в 2016 году экономическая повестка серьезно потеснила повестку идентичности. В результате даже при сохраняющихся довольно высоких уровнях оценки “внешних угроз” эти угрозы, скорее всего, перестанут трансформироваться в доверие и поддержку “нынешнего режима” в силу снижения значимости этой проблематики для массового общественного сознания — по мере того, как повестка идентичности в общественных представлениях будет становиться менее значимой. Продолжающаяся внешнеполитическая конфронтация вполне может даже превратиться в раздражающий фактор и служить не укреплению доверия к “власти” и официальным медиа, как это было в 2014–2015 годах, а подрыву этого доверия.

В конце концов, набор “угроз”, предъявленных обществу в течение последних десяти лет, носил в основном достаточно абстрактный, а отчасти и экспансионистский характер. В условиях, когда экономическая повестка постепенно, но ощутимо набирает вес, эти “угрозы” должны стать гораздо более “материальными”, чтобы выдержать подобную конкуренцию.

За рамками же экстремальных сценариев, подразумевающих значимую “материализацию” тех или иных “угроз” и новый общественный шок, процесс диссипации “консервативного провластного консенсуса” выглядит не только неизбежным, но уже в определенной мере начавшимся. Этот процесс, видимо, отчасти затенен “авторитарным сдвигом”, связанным с эрозией публичной сферы. Действительно, при том, что знаменитый путинский рейтинг потерял всякую “чувствительность” к социальным процессам, при взгляде на частные индексы социальных настроений на Рис.1 мы с удивлением обнаружим, что “индекс власти”, отражающий совокупное доверие к президенту и правительству, потеряв около 25 пунктов, через два года после начала кризиса находится практически в той же точке, что и через два года после начала кризиса 2008–2009 годов.

Кризисная траектория

Как мы стремились показать, конкуренция моделей предпочтительного институционального порядка — ассоциируемого с советским прошлым идеала максимального государственного контроля, ассоциируемого с Западом либерального порядка и того или иного варианта компромиссной модели (“нынешний режим/особый путь”) — составляет одну из принципиальных рамок динамики российского общественного мнения. И если внешнеполитический кризис 2014–2015 годов ослабил и отчасти маргинализировал группу сторонников второго пути, выдвинув на первый план проблематику “повестки идентичности”, то экономический кризис 2015–2016 годов действует в обратном направлении, подрывая привлекательность этатист-

ской модели, триумф которой еще два года назад выглядел почти абсолютным.

Безусловно, укрепление авторитарных институтов, имевшее место в середине 2010-х годов на волне посткрымской консервативной консолидации⁹, усилившийся дисбаланс в элитах, приведший к критическому доминированию силовиков и силовых практик как в государственном, так и корпоративном управлении, рост изоляционизма и реваншистских ожиданий создали значительные преимущества партии сторонников посткрымского, наиболее авторитарного и консервативного варианта “особого пути”. Однако анализ долгосрочной динамики предпочтений и соотношений партийно-идеологических макрोगрупп позволяет характеризовать такую ситуацию как достаточно искусственную.

При том, что идеалы “сильной власти” и сильного государства (в том числе играющего значительную роль в экономике) весьма влиятельны в массовом общественном мнении, их поддержка ни в коем случае не выглядит выраженной доминантой общественных предпочтений. Напротив, спрос на социальную и институциональную модернизацию и различные формы автономии (от личностной до региональной) также предстает влиятельной константой картины массовых предпочтений в среднесрочном и долгосрочном периоде. В проспективных же повестках этот спрос и вовсе оказывается доминирующим.

Еще в одном варианте вопроса “Левада-центра”, использующем ту же парадигму ответов, респондентов просто спрашивают: “Какой бы (в идеале) вы хотели видеть Россию в будущем?” (Табл. 3 на с. 19). Хотя доля сторонников “западной” модели здесь убывает, даже в конце 2015 года вариант ответа “такой, как сейчас” выбирают лишь 14%, а сокращение доли “западников” ведет преимущественно к расширению группы тех, кто уклоняется от выбора (эта группа выросла с 11 до 24%).

Условное “западничество”, предпочтение институциональных моделей, ассоциируемых с паттерном модернизации, остается исторически укорененной, мощной и устойчивой константой проспективных представлений россиян, а также одним из дефинитивных признаков и важнейшим социальным

капиталом российской элиты. Это не отменяет того обстоятельства, что в целом “повестка идентичности” становится в 2000–2010-е годы более влиятельной даже за рамками наведенных “конфронтационных” контекстов, а желаемый институциональный результат в российском массовом сознании выглядит

Табл. 3. “Какой бы (в идеале) вы хотели видеть Россию в будущем?”, % от числа опрошенных

	04.2006	04.2007	03.2013	11.2015
такой, как развитые страны Запада	45.8	51.5	39.9	36
такой, как сейчас	9.3	10.5	9.1	14
такой, как она была до 1917 года	4.9	3.8	6.1	3
другое	5.1	4.6	7.2	10
затрудняюсь ответить	5.9	6.3	12.9	14

В условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры политика поляризации общества, стигматизации и блокирования проявлений модернизационного спроса в публичной сфере потребует от политического режима значительного напряжения, постоянных радикализаций текущих повесток и, возможно, снижения качества управленческой элиты и экономической политики. Учитывая, что внешнеполитические напряжения перестают играть прежнюю роль в поддержании доверия режиму, нам, в отличие от ряда экспертов, представляется весьма вероятным сценарий, при котором основные усилия Кремля будут в ближайшем будущем сосредоточены на поддержании различных “перераспределительных контуров” в экономике в ущерб ее рыночному потенциалу. В целом в ситуации фундаментального дисбаланса режим сам начинает играть во многом дестабилизирующую роль, провоцируя конфликты и ложные кризисы и принимая все более рискованные решения. Собственно, аннексия Крыма и стала первым примером такого рода.

В нашем сценарии 2010 года — сценарии “третьего цикла” — мы исходили из предположения, что по мере выхода из периода трансформации политическое развитие России будет все в большей степени определяться

скорее как “другой Запад”. Вместе с тем попытки сформировать альтернативную идейную платформу, ориентированную не на конвергенцию, а на поляризацию “западного” и “российского”, выглядят пока ущербными и имитационными.

стандартным механизмом колебаний между полюсами общественных целей — целей развития и стабилизации, частного и общественного интереса, открытости и самодостаточности, отчасти синхронизированных с экономическим циклом. В результате авторитарный сдвиг 2000-х годов должен был смениться тенденцией новой либерализации, компенсирующей сжатие ресурсной базы и возможностей правительства. Эта модель подразумевала постепенное сокращение размаха колебаний между полюсами в поисках относительно сбалансированных политических альтернатив. Однако неинерционный сценарий 2010-х опрокинул эти эволюционистские ожидания. Масштабы ресурсов, внезапно ставших в связи с началом нефтяного бума доступными, слабость политических институтов, фрагментированность и “случайность” посттрансформационных элит определили переход третьего постсоветского цикла на радикальную и кризисную траекторию.

Примечания

- 1 Рогов К. *Гипотеза третьего цикла* // Pro et Contra. 2010. № 6(50). URL: http://carnegieendowment.org/files/ProetContra_50_6-22.pdf (доступ 05.12.2016).
- 2 Теория “авторитарной личности” Т. Адорно и соавторов (ADORNO T. W., FRENKEL-BRUNSWIK E., LEVINSON D. J., & SANFORD R. N. *The authoritarian personality*. New York: Harper and Row, 1950) и ее развитие в концепции “правоавторитарной личности”, безусловно, весьма полезна для понимания стереотипов посткрымской политической мобилизации, однако не исчерпывается ими. Использование в посткрымской пропагандистской кампании элементов модернизационного дискурса заслуживает отдельного исследования и обсуждения.
- 3 Данные “Левада-центра”, частные индексы социальных настроений разработаны и рассчитываются М. Д. Красильниковой. См. *Обновленная методика измерения индекса социальных настроений (ИСН)* // Левада-центр. URL: <http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnyh-nastroenij-isn/> (доступ 05.12.2016); данные детализированного индекса социальных настроений см. *Социально-экономические индикаторы* // Левада-центр. URL: <http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/> (доступ 05.12.2016).
- 4 Ноэль-Нойман Э. *Общественное мнение. Открытие спирали молчания*. М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. KURAN T., *Private Truths, Public Lies*. Cambridge MA: Harvard University Press, 1995.
- 5 Исследованию факторов “одобрения правительства” на широком сравнительном материале посвящена недавняя работа GURIEV S., TREISMAN D. *What Makes Governments Popular?* // Discussion Paper Series. London: Center for Economy Politics Research, 2016. URL: http://www.cepr.org/sites/default/files/news/CEPR_FreeDP_050916.pdf (доступ 05.12.2016); авторы приходят к выводу, что уровень ограничения свободы информации и свободы прессы имеет существенное влияние на одобрение правительства, а уровень репрессивности — нет. Эти важные результаты нуждаются, на наш взгляд, в дальнейшем обсуждении.
- 6 Редкие опросы об отношении к президенту проводит азербайджанский независимый Центр мониторинга “Ряй” (<http://www.rey.az>). По данным опроса от октября 2014 года, проголосовать за Алиева в ближайшее воскресенье готовы были 83%, следующий опрос в июне 2015 года давал Алиеву 87%, следующий — в апреле 2016 года — 93% среди жителей Баку. Отрывочность опубликованных опросов говорит сама за себя.
- 7 Данные о высокой поддержке правительств в авторитарных режимах в Азии см. “Asiabarometr”; этот вопрос стал предметом специальной дискуссии по материалам 3 и 4 волн опросов; параллельная серия опросов проводится в Китае исследователями Harvard Kennedy School (см., например, SAICH T. *The quality of governance in China: The Citizens View* // HKS. Faculty Research Working Paper Series. November 2012. URL: <https://dash.harvard.edu/handle/1/9924084> (доступ 17.12.2016)).
- 8 GEDDES B., ZALLER J. *Sources of popular support for authoritarian regimes* // American Journal of Political Science. 1989. Vol.33, №2. — P. 319–347.
- 9 Некоторые опыты в этом направлении см. Блинов В.В. *Типы идеологических сторонников в современной России* // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. №6 (100). С 12–29; Бызов Л.Г. “Неоконсервативная волна” в современной России: фаза очередного цикла или стабильное состояние? // Мир России. Социология. Этнология. 2010. Т.19, №1; Бызов Л. Г. *Избирательный цикл 2011/2012 гг. Через призму ценностей и идейных противоречий общества* // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. №2–3 (114–115); и др.
- 10 См., например, *Институциональное доверие* // Левада-центр. 2016. 13 октября. URL: <http://www.levada.ru/2016/10/13/institutsionalnoe-doverie-2/> (доступ 17.12.2016)
- 11 Опора на долговременные ряды отличает наш опыт от предыдущих попыток такого рода (в частности, упомянутых в прим. 9). Качество массовых опросов в России нередко подвергается критике. Долговременные ряды позволяют

- смягчить эту проблему, демонстрируют масштаб стандартных (незначимых) колебаний и устойчивые тренды. Вместе с тем эти данные, на наш взгляд, могут быть подвержены определенным искажениям, в особенности – в посткрымском периоде, связанном с ухудшением “климата мнений”. См. об этом Рогов К. *“Крымский синдром”: механизмы авторитарной мобилизации* // *Контрапункт*. 2015, №1. URL: <http://www.counter-point.org/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC/> (доступ 13.12.2016).
- 12 Данные “Левада-центра”, рассчитаны среднегодовые значения, в целом с конца 1999 по конец 2007 года, сделаны 68 замеров и еще два — в январе и апреле 2012 года.
- 13 Следует отметить, что в опросах 1999 и 2000 годов, где доля сторонников западной государственной модели особенно велика, уточнение “в будущем” в формулировке вопроса отсутствовало; с другой стороны, в схожей формулировке ответа на Вопрос 6, о котором речь пойдет ниже, присутствует оговорка об “особом укладе” этой модели на русской почве (“Государством с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом”). Несмотря на эти различия доля выбирающих “западно-демократическую модель” в вариантах вопроса, упоминающих “тип государства” достаточно стабильна.
- 14 В тех случаях, когда “верхний” кластер представлен единственным значением (выбросом), мы все равно считали показателем “верхнего” кластера среднее от значения выброса и ближайшего к нему значения, чтобы таким образом понизить “вес” единичного выброса.
- 15 Глубокие замечания относительно концепта “особого пути” в контексте российской трансформации см. в статье Дубин Б.В. *“Особый путь” и социальный порядок в современной России* // *Вестник общественного мнения*. 2010, №1 (103). URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/vom_2010.1_103.pdf (доступ 05.12.2016).
- 16 Выражение впервые использовано Иваном Крастевым для характеристики поворота в путинской внутренней и внешней политике второй половины 2000-х годов (KRASTEV I. *Russia as the “Other Europe”* // *Russia in Global Affairs*. 2007, №4. URL: http://eng.globalaffairs.ru/number/n_9779 (доступ 05.12.2016), позднее оно было развернуто в целую концепцию — см. HORVATH R. *Putin’s “preventive counter-revolution”: post-Soviet authoritarianism and the spectre of Velvet revolution* // *Europe-Asia Studies*. 2011. Vol. 63, № 1. P. 1–25; HORVATH R. *Putin’s Preventive Counter-Revolution: Post-Soviet Authoritarianism and the Spectre of Velvet Revolution*. Routledge, 2013.
- 17 *Предпочтительные модели экономической и политической систем* // Левада-центр. 2016. 17 февраля. URL: <http://www.levada.ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoy-i-politicheskoy-sistem> (доступ 17.12.2016).
- 18 “Курьер”, 5–10 июня 2013 года, “Курьер”, 17–21 июня 2015 года.
- 19 См., например, Рогов К. (ред.) *Институты и практики авторитарной консолидации. Политическое развитие России. 2014–2016 гг.* М. Либеральная миссия, 2016.
- 20 См. подробнее Рогов К. *Политические циклы постсоветского транзита* // *Pro et Contra*. 2012. №. 4–5 (56). – С. 6–32; а также СНЕВАНКОВА Е. *Public and private cycles of socio-political life in Putin’s Russia* // *Post-Soviet Affairs*. 2010. Vol. 26., №. 2. – P. 121–148.